

Алексей Будищев

# Письмо



# Алексей Николаевич Будищев

## Письмо

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=18470178](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18470178)*

### Аннотация

«Один из блестящих адвокатов столицы получил довольно объемистый и тщательно запечатанный конверт. Когда конверт был вскрыт им, в нем оказалась рукопись в два писчих листа; адвокат тотчас же принялся за чтение и, по мере того, как он поглощал резко написанные строки рукописи, глаза его раскрывались все шире и шире, и все худощавое лицо адвоката принимало выражение полнейшего недоумения...»

# Алексей Будищев

## Письмо

Один из блестящих адвокатов столицы получил довольно объемистый и тщательно запечатанный конверт. Когда конверт был вскрыт им, в нем оказалась рукопись в два писчих листа; адвокат тотчас же принялся за чтение и, по мере того, как он поглощал резко написанные строки рукописи, глаза его раскрывались все шире и шире, и все худощавое лицо адвоката принимало выражение полнейшего недоумения.

В рукописи этой заключалось следующее:

«Помните ли вы меня? Помните ли вы защитительную речь, сказанную вами 15 ноября в зале Энского окружного суда, 12 лет тому назад? Как вы хорошо говорили тогда, какие рукоплескания загремели после вашей блестящей речи, а когда представители общественной совести вынесли мне оправдательный приговор, поведение дам приняло положительно буйный характер. А дам в этот день в зале суда было больше, чем много. Еще бы! Интеллигентный убийца, видный общественный деятель на скамье подсудимых; дикий ревнивец, убивший любовника своей жены. О, здесь есть что послушать и на кого посмотреть!

А я был безукоризнен, не правда ли, в роли убийцы? Я был бледен, „демонически“ бледен, мой сюртук сидел на мне классически, а мой белый атласный галстук и фарфоровая

грудь моей сорочки были „белее альпийских снегов“, как поют в опере. Да, я мог бы иметь большой успех среди дам после моего процесса, но я устал, я очень устал, и мне было совсем не до того...

Впрочем, возвращаюсь снова к моим воспоминаниям. Помните ли вы выход моей жены, тогда свидетельницы, во всем черном, с донельзя усталым видом? Какой шепот пробежал среди дам при ее появлении! Как она робко говорила, великодушно принимая на себя всю вину! А показание моего лакея, Ивана Степашкина, внезапно заявившего, что в тот момент, когда он прибежал в кабинет после выстрела, Аркадский лежал на полу с простреленною головою и в его окоченелых руках были зажаты пачки кредиток, забрызганных кровью? Как заволновалась зала суда после такого показания! Но я вывернулся, я очень ловко вывернулся. Дело оказалось ясным; деньги я вручил Аркадскому, как задаток в счет приданного, так как он, по уговору, должен был жениться на моей жене – после ее развода со мною. Он был бос и наг, и я вручил ему деньги. Вручил, а потом выстрелил, – потому что аффект! Я, видите ли, хотел поступить, как наивеликодушнейший человек – но аффект-с!

А когда стала говорить старушка в коричневом платье, мать убитого, подметили ли вы мой полный отчаяния жест? Уже тогда мне мучительно хотелось крикнуть всю правду, но я сломил себя и молчал, кусая губы. Да, этот жест тоже аффект! Ах, господа, господа, поверьте мне, выстрел не аф-

фект и таких аффектов не бывает. Выстрел, удар ножом из-за угла, измена, братоубийство, лицемерие, изнасилование, – это не аффекты, это кровь и плоть наша, наша суть, наше достояние, которое мы вечно таскаем за собою, как улитка скорлупу. А вот жест отчаяния убийцы, когда говорит мать убитого, прыжок со скалы к утопающему, жертва собою, верность, святость, вот эти слезы, которые бегут сейчас из моих глаз, – это все аффекты, вымученные ради нас гениями мира, я не знаю для каких целей!

Да, господин адвокат, что, если вы защищали великолепнейший экземпляр негодяя? Что, если я дурачил вас всех и лгал 12 лет; 12 лет таская на своей спине это гнусное бремя? Но, увы, теперь моя песенка спета, мне не к чему лгать, я уйду в те страны, откуда не возвращался еще ни один путешественник, и я хочу говорить только правду, одну правду.

Слушайте же меня!

Я любил ее горячо, нехорошо любил и ревновал мучительно. Были ли у меня поводы к этому? Осязательных – нет, ни пол-повода, а косвенных, психологических, тонких и почти неуловимых – миллиарды. И поэтому я страдал. Что такое ревность? Что такое любовь?

Любовь, по-моему, есть мучительное стремление человека разрушать то одиночество, на которое он обречен на земле; результатом такого стремления является желание постичь душу любимого человека, как свою собственную, и слиться с ней воедино, а ревность вытекает из невозмож-

ности достичь ни того, ни другого. Таковы были причины и моей ревности.

Кто была моя жена? По наружности это была белокурая женщина, среднего роста, тонкая и стройная, с бледным лицом и скучающими серыми глазами. Что же касается до ее содержания, то о нем я ничего не знал, решительно ничего. Я знал только, что ее глаза, скучающие обыкновенно, заволакивались порою томною влагою и принимали выражение, как будто она вся изнемогала от страсти и вожделений под чьими-то неведомыми поцелуями. И это выражение, чрезвычайно мимолетное, ее глаза принимали по большей части, когда она слушала музыку или была среди мужчин или наслаждалась летним вечером. В эти минуты я ревновал ее мучительно, бешено, ко всему окружающему ее, ко всем мужчинам, к воздуху, которым она дышала, к собаке, которую она ласкала. Я весь трепетал и горел и стремился угадать ее мысли в те мгновения, жаждал заглянуть в ее душу и знал, что мне никогда не достичь этого, что тут гранитная стена, которую мне не разбить никакими усилиями. И я ревновал и бесновался с судорогами во всех членах. О-о, что это была за мука!

Перед моею женитьбою на ней, она вдовела два года, и эти два года были для меня землею неизвестною. Как жила она это время, чем увлекалась, что думала, о чем грезила во сне — разве я мог узнать об этом каким-нибудь способом? И я полюбил ее неизвестную, и женился на ней, и поставил себе

целью, стремлением всей моей жизни постичь ее, заглянуть когда-нибудь в ее душу, хотя бы мне пришлось увидеть там целый ад. После трехлетнего супружества она родила сына и когда Аркадский упал в моем кабинете с простреленным виском, ребенку было уже два года. Спешу сделать маленькую оговорку. Несколько месяцев перед рождением ребенка и затем в продолжение полугода я не видел ни разу в глазах жены того выражен которое повергало меня в бешенство. А потом все начала по-старому и я снова попал в застенки.

Часто я ломал себе голову, пытаюсь создать в своем воображении точный образ жены. Кто же она в самом деле? Как муж, я знал, что она чувственна, а из того, что она отвергала в себе эту чувственность, отвергала, конечно, намеками, в разговорах, я смело заключил, что она страдает ею в преувеличенных размерах, возмущавших остаток ее целомудрия.

А чувственность – это вечно жаждущий зверь; она ищет все новых и новых жертв, так как она тотчас же пресыщается ими; она жаждет измены ради измены, измены ради беснования духа. Кто будет ее жертвой – орел или мышь – ей безразлично, она жаждет нового. И только.

И если это так, жена изменяет мне; с кем – почему я знаю!

Порою я думал даже так: пусть измены не существует в данном случае физиологически, пусть жена верна мне телом своим, но раз измена живет в ее душе, как мечта, как образ, как психоз, раз в душе этой женщины есть бесконеч-

ная жажда измены, жажда, которая томит ее почти против ее воли, раз мы все созданы такими и измена не находит лишь времени и места для своего проявления, или пугливо прячется из трусости быть разоблаченной, – это несколько не изменяет сути; я не хочу этой верности из-под палки, я проклинаяю ее и жажду всем сердцем измены, фактической измены, лишь бы только измена эта открыла мне глаза. И меня день и ночь жгли вопросы: кто же мы? Однолюбцы, чистые сердцем и жестоко побивающие блудниц камнями, или блудницы, для чего-то прикидывающиеся однолюбцами? Часто по ночам я лежал в своей постели с широко открытыми неподвижными глазами, с громко бьющимся сердцем, мучась почти в конвульсиях, строя тысячи предположений, тысячи планов и способов, которые помогли бы мне разрушить стену, рассеять мрак, заглянуть на дно пропасти. И я не находил таких способов и скрежетал зубами. И вот, однажды, в одну из таких ужасных ночей без сна, когда я лежал с холодными конечностями и горящими глазами, меня осенила внезапно счастливая мысль, гениальная идея, почти откровение свыше. Я даже расхохотался от радости и так громко, что разбудил жену. Ее поразил мой наглый и холодный смех, но вы простите мне его, так как он был вызван пятилетнею пыткой в застенке в ту минуту, когда мне мелькнула надежда на то, что муки мои окончатся, и я увижу скоро Божий свет.

Кое-как я успокоил жену, но она все еще долго ворчала



спросонок и все допытывалась, чему я так глупо расхохотался. Чтобы успокоить ее окончательно, я завернулся в одеяло и притворился спящим. Она улеглась, и когда я услышал ее ровное дыхание, я снова сел на своей постели, мучимый нетерпением поскорее привести в исполнение свой план, и глядел в окно широкими глазами и ликовал, ликовал. Моя идея, как и все гениальные идеи, была замечательно проста и незатейлива. Я решился окружить попечением то семя, которое закинуто в душу человека чертом, дать ему все удобства, пищу и пойло, а затем посмотреть какой-то фрукт из него вылупится.

Когда утренняя заря заиграла на сошниках плугов, стоявших у сарая, и превратила в серебряную звезду валявшийся на крыше погребца осколок жестянки, я упал на подушки и уснул.

На следующее же утро я выехал в Петербург, сказав жене какую-то околесицу.

Маленькая оговорка. Если бы жена сама, первая, рассказала мне все, раскрыла свою душу и обнажила тех бесов, которые терзали ее, я простил бы ей все, клянусь вам, и помогал бы ей изгнать этих бесов, и Аркадский никогда не запачкал бы полов моего кабинета своею кровью.

\* \* \*

По приезде в Петербург, я тотчас же сдал объявление в од-

ну из распространенных газет; в объявлении этом я прописал нижеследующее: нужен домашний секретарь, молодой, вполне приличный, за хорошее вознаграждение, адрес там-то.

И вот, после этого объявления, в мою комнату стали являться разного рода более или менее „приличные“ господа. Однако, среди них я не находил ни одного подходящего экземпляра, при помощи которого я мог бы привести в исполнение свой план. И я без церемонии выпроваживал этих господ под разными предлогами за дверь. Признаюсь, я уже начинал было отчаиваться. Но вот, на третий день моих поисков, в мой номер вошел худощавый, среднего роста брюнет. Вошел он как-то бочком, шмыгая ногами и как бы готовясь протанцевать какой-то неприличный танец. Костюм его был подержан, но с большими претензиями, галстук подвязан мотыльком. К довершению всего, его усы и волосы были подвиты, а усы даже чем-то подмазаны. Одним словом, в этом господине все, начиная с походки и кончая колечком-сувениром, блестящем на его волосатом пальце, было так пошло, отдавало такую срамотою, если так можно выразиться, что я остался вполне доволен его осмотром.

„Тебя-то, голубчик, мне и надо!“ – подумал я.

Незнакомец представился мне: звали его Василий Прокофьевич Аркадский. Проговорил он мне свое имя с улыбочкою, и я и улыбочкою его и звуком голоса остался тоже вполне доволен. Я решился остановиться именно на нем так как по-

нял, что в этом человеке нельзя купить только того, чего у него не было. Я пригласил его сесть и потребовал бараньих котлет, винограду и бутылку вина, намереваясь с ним позавтракать, прежде чем приступить к делу. Однако, я не придрагивался к завтраку, но Аркадский ел не без аппетита и все время болтал мне о себе. Из его слов я узнал, что сперва он служил в какой-то палате, затем лишился места и пел тенором – сначала в оперетке в хоре, а затем в качестве куплетиста в кафешантане.

Пел в кафешантане, – я едва не расхохотался от удовольствия; судьба посылала мне сущий клад, вероятно, сжалившись над моею пятилетней пыткой. Когда мы распили бутылку вина, я спросил вторую и приступил прямо к делу. Конечно, я принял самый беззаботный тон и вид и пересыпал свою речь плоским смешком и скверными шуточками. Начал я с того, что собственно мне нужен не домашний секретарь, и вот какое дело имею я к господину Аркадскому. Жена моя, видите ли, бабенка вздорная, легонькая и грешков за ней водится немало, и надоела она мне до смертушки. И вот, мне хотелось бы отвязаться от нее, выпроводить как-нибудь ее из дому, конечно, под условием выдавать ей ежемесячную на прожиток пенсию; человек я богатый и не скуп, так что о деньгах тут не может быть и речи, но все дело в том, что на удаление жены из дому у меня нет, так сказать, нравственных оснований, оснований разумеется, для света, так как жена моя баба хитрая и интрижки ее не разоблачены.

Так вот, если бы господин Аркадский взял на себя труд пленить эту дамочку и затем помог мне разоблачить ее секрет, дав в руки веские доказательства ее измены, вот тогда бы я имел в глазах света основание выпроводить жену из дому, а у меня, к довершению всего, есть на примете девица, свеженькая, великолепнейшей конструкции... Я расхохотался, поцеловал кончики своих пальцев и затем продолжал, что если бы Аркадский согласился на это, я был бы весьма благодарен ему, и за свой труд он получил бы с меня сто рублей ежемесячных и тысячу за доказательство. Окончив эту тираду, я замолчал и глядел на Аркадского с спертым дыханием и ледяною головою. Несколько минут длилось молчание. Аркадский безмолвствовал и, в свою очередь, глядел на меня, как бы не доверяя моим словам. Но затем сомнение, очевидно, покинуло его, внезапно он пренагло расхохотался и стал оживленно болтать, что мой способ весьма остроумен, что он первый раз в жизни слышит о таком способе, но что современные дамы безнравственны и что разоблачить одну-другую не грех, и что он, между прочим, имеет большой успех среди дам, так что даже и места в палате он лишился вот именно оттого, что жена начальника отделения, Капитолина Петровна... Я не слушал его более; он согласился и ушел, взяв с меня аванс в 50 рублей. Через два дня я выехал с ним из Петербурга. Итак, корабли были сожжены, я объявил войну лицемерию, посмотрим, чем-то война кончится!

И вот Аркадский два месяца прожил у меня в имении;

два месяца он неотлучно находился при жене, катался с нею в лодке, гулял по лесу, пел с нею дуэтом, аккомпанировал ей. Но, однако, я все же был далек от разоблачения мучившей меня тайны.

Аркадский ничем не мог похвастаться передо мною, хотя это несколько не облегчало моих мук, не изменяло сути. Все же я ясно видел, что живу на кратере вулкана и что катастрофа произойдет не нынче, так завтра, послезавтра, на днях, а если даже и не произойдет, то, во всяком случае, не потому, что в нас нет элементов к тому, а просто в силу какой-то глупой случайности, и согласитесь сами, много ли в этом отрадного? Да и Аркадский не оспаривал моих предположений, так как и он был убежден в их справедливости. Так прошла неделя, другая, третья. И вот, как-то в сумерки, Аркадский вошел ко мне в кабинет, когда я сидел там один с своими мучениями. Он многозначительно pokrutil свой подвитый ус волосатыми пальцами и сообщил мне, что я должен выехать на время из дому – ради выгоды нашего дела, как он выразился. Он был взволнован и красен, когда сообщал мне это, я же мучительно побледнел, но Аркадский не заметил моей бледности, так как в кабинете стояли мутные сумерки. Я понял его: жена колеблется, ее пугает моя близость, но если я удалюсь из дома...

У Аркадского есть большие надежды!

Я уехал тотчас же в лес, на хутор, где не было ни души. Я жаждал одиночества.

О, как шумел ветер в эту ночь и какие тучи волоклись одна за другою по небу! Я не спал эту ночь и до зари просидел у окна лесной хаты, поставив локти на подоконник и слушая шум ветра. Шум ветра и мрак всегда наводят на меня ужас, а в эту ночь они пронизывали все мое существо мучительною болью. И я сидел и думал. Что если бы нашелся смельчак, нашелся гений, который сдернул бы с небес эту грязную пелену туч созданную испарениями земли, и эту синеву и разоблачил бы небо так же, как я пытаюсь разоблачить сердце человека? Что, если и там тот же ужас и ничего, кроме ужаса, а это святое сияние не более, не менее, как подмалевка и обман?

Перед зарею одно мучительное предположение обдало меня холодом. Что если Аркадский не выдержит искуса и выдаст жене мой замысел, а та уприсит его скрыть от меня то, что произойдет между ними, и он солжет мне, скрыв истину? Я готов был немедля скакать домой, чтобы самому добыть, правду. Однако, предположение мое оказалось ложным; по утру из дому приехал рабочий. Аркадский звал меня домой. В моем отсутствии уже не было более нужды и я отправился на зов.

Все время по дороге домой я думал.

Тайна разоблачена, сомнений нет, Аркадский восторжествовал, а жена пала. То роковое и ужасное, которое живет в сердце человека, как мечта, как отвратительный образ, приняло плоть и кровь, едва я попробовал сыграть в его

дудку, потому что оно могучее, а все эти сентиментальные стремления и идеальные любви есть только подмалевка и обман, созданные невероятными потугами целых тысячелетий. Любви нет, есть только стремление разрушить то одиночество, в которое мы брошены, так как мы прозрели отчасти и нам страшно, а страх напряженнее в одиночестве. Да кроме этого стремления, есть желание иметь побольше самок или самцов и менять их почаще. Первое недостижимо, а второе достижимо очень. Вся же разница между безнравственными и нравственными людьми заключается только в том, что в сердцах первых отвратительные образы переходят в факты, а в сердцах вторых они всю жизнь остаются мечтою. Но много ли в этом утешительного? Я связываю себе руки, чтобы не убить человека, чем же я лучше заправского убийцы?

Платоническая блудница – не правда ли, как это красиво звучит?

Вместе с Аркадским я прошел в кабинет и по дороге он рассказал мне обо всем, что произошло в эту ночь. В кабинете мы остановились у письменного стола, он с одного его бока, я с другого, оба бледные и сосредоточенные; и я спросил его, чем он может засвидетельствовать, что переданное им есть совершившийся факт. Он отвечал, что я могу устроить засаду и убедиться своими глазами в его близости к жене. Но я отверг это и спросил, найдет ли он в себе мужество подтвердить все им сказанное при жене, лицо в лицо, на оч-

ной ставке с нею, если это потребуется.

Я был уверен, что она будет отпираться, и меня мучило любопытство узнать, хватит ли у нее наглости отпираться на очной ставке с Аркадским, посмотреть, какой трепета пробежит по ее лицу в эту минуту; мне хотелось упиться ее позором, я жаждал еще чего-то жуткого, мучительно-го, нелепого. Однако, Аркадский колебался. Я обещал уплатить ему за это еще 300, 500, тысячу рублей и ждал ответа; и в эту минуту я увидел револьвер лежавший на моем письменном столе. Но, клянусь вам, в эту минуту я еще не думал сделать того, что я сделал после, я только пошутил, скверно пошутил. Дело в том, что меня осенила мысль, и я весь приковался к ней. Но Аркадский вывел меня из оцепенения; он согласился. Я просил его подождать меня несколько минут и пошел к жене в спальню. Мне было мало разоблачения тайны, мне, до мучения, хотелось сказать о ее разоблачения жене и заглянуть в ее глаза и видеть, как в этих глазах быстро, как птицы, промелькнут выражения сперва страха, затем отчаяния и, наконец, злобы за это разоблачение. А потом она будет запирается, божиться, поцелует икону, быть может. И меня влекло ко всему этому стихийною силою, сладострастно сжигая меня всего в диких конвульсиях.

Жена сидела у окна в утреннем капоте, когда я вошел к ней. При моем входе, она встала и сделала было жест, желая двинуться навстречу, но вдруг она увидела мое лицо и точно окаменела на месте.



Я подошел к ней близко, коснувшись коленями ее платья, и сказал, что она изменила мне с Аркадским, и я знаю это, наверное знаю и запираюсь уже поздно. Я упорно глядел в ее глаза и увидел тех птиц, которых так давно жаждал видеть: и страх, и отчаяние, и злобу. Но жена не отпиралась и стояла передо мною с бледным лицом и мучительною улыбкою. Я слышал, как хрустели ее пальцы, теребившие какое-то рукоделье. Наконец, она нашла в себе силы прошептать:

– Отпираться смешно, суди меня как хочешь.

Захотала. Передернула плечами. И заплакала.

Я отвечал, что требую ее выезда из моего дома через день, через два, самое большее. Она кивнула головою и что-то сказала в ответ, тихо плача. Мы говорили почти шепотом, точно подавленные тою тяжестью, которую взвалила на наши плечи судьба. Затем жена спросила меня, куда же нам деть ребенка? Ведь нельзя же его бросить на произвол? Я отвечал, что мне все равно, пусть она берет его с собою или оставит у меня, мне все равно; я говорил шепотом, со спазмами в горле, что если я и она такие гнусные самец и самка, то пусть гибнут волчата, мне нет до них никакого дела. Я медленно двинулся из спальни, но на пороге снова остановился, услышав за спиною ее зов. Я подождал, но ничего не услышал и ушел.

В кабинете Аркадский ждал меня и стоял у левого бока стола; я остановился у противоположного и сказал, что очной ставки не потребуется, но все-таки я готов уплатит

по уговору. Я достал несколько пачек денег и вручил их Аркадскому, прося сосчитать. В пачках кажется около трех тысяч, но пусть он сосчитает. Он аккуратно принялся считать и стоял все также боком ко мне. Вокруг сразу стало тихо и воздух кабинета сперся до невозможного напряжения. А я глядел попеременно, то на красные и волосатые пальцы Аркадского, считавшие ассигнации, то на револьвер, лежавший на столе. И мою голову снова засверлила давешняя мысль. Я думал. Если отвратительные образы живут в наших сердцах и воплощению их мешает лишь то идеальное, что привито нам гениями человечества, т. е. вырожденками его, уродами, так сказать, привито насильно, помимо нашего желания, как прививают быкам сибирскую язву, то не лучше ли нам отрешиться от этого, насильно привитого, отрешиться до последней нитки, без всякого остатка, и смело идти вслед за каждым желанием за каждым вожделением? А если так, то почему бы мне не истребить этого червя с волосатыми пальцам чтобы он не выболтал моей тайны где-нибудь в кабаке? Ведь это червь, ничтожный червь, и кому нужна его жизнь? А меня оправдают, конечно, оправдают! Воздух кабинета спирался до головокружения и я удивляюсь, как Аркадский не чувствовал этого, как он мог не чувствовать, что каждая вещь кабинета уже громко кричала об убийстве. Но он ничего не замечал, считал деньги и не глядел на меня. И вдруг он упал с красным пятном на виске, задевая за стол и стулья. Как попал в мои руки револьвер, — я не помню.

Вот и вся моя исповедь. А потом снова началась пытка; а потом ко мне пришла старушка в коричневом платье, мать убитого. Она плакала, сморкалась в скомканный платочек и говорила, что она любила его, этого червя; что он был хороший сын, и присылал ей на прожиток ежемесячно по 15 рублей, а последние месяцы (из тех, стало быть, ужасных денег?) по двадцати пяти. Она удивлялась, как моя пуля могла поразить его, когда на его груди в ту минуту висела ладанка с рукавичкою от Митрофания, которую она зашила ему, когда он от нее уезжал. И она жалобно выла, как маленькая собачонка, и все морщины ее маленького лица были полны слез. И этот вой застрял в моих ушах и целых 12 лет я всюду носил его за собою, не в силах разобраться в этой удивительной путанице. Но теперь я, кажется, начинаю кое-что понимать и твердо решил, решил»...

На этом рукопись обрывалась.